

Научная статья

УДК 070

DOI: 10.15393/j10.art.2021.5362



Эффект «Пушкинской речи» в русской журналистике

В. А. Викторович

*Государственный социально-гуманитарный университет
(Коломна, Российская Федерация)*

e-mail: VA_Viktorovich@mail.ru

Аннотация. В статье предпринят системный анализ русской прессы 1880 г., активно отзывавшейся на «Пушкинскую речь» Достоевского. Интерпретационный бум вокруг его выступления представляет особый интерес для исследования процессов формирования общественного и национального самосознания в России. В истории журналистики состоявшиеся тогда дебаты могут рассматриваться как аналог современных информационных войн. В то же время данный эпизод — один из решающих для «проблемы Достоевского» в критике и, шире, в русском общественном сознании. «Пушкинская речь» носила очевидно объединительный характер, однако она, а еще более «Дневник Писателя» 1880 г. вызвали жесточайший раскол в журналистике, отражавшей состояние умов русского общества. Поначалу в телеграммах и корреспонденциях происходит смена смысловых акцентов, а затем в оппонировавших Достоевскому изданиях ключевое понятие «всечеловечность» преподносится исключительно как «мечта», не только не совместимая с реальностью, но еще и отвлекающая от насущных общественно-экономических проблем. Происходит также наращение смысла в виде пресловутого «мессианизма» Достоевского. Наиболее употребительным концептом враждебной писателю журналистики становится «мистицизм» как эвфемизм «веры». Параллельно в некоторых изданиях («Мысль», «Неделя», «Новое время», чуть позже «Русь») формируется иное понимание «Пушкинской речи» как вербализации национальной идеи в ее направленности ко «всечеловеку» как реально достижимому идеалу. Завязавшийся вокруг речи Достоевского спор вел к самоопределению ведущих направлений русской мысли.

Ключевые слова: рецепция «Пушкинской речи» Достоевского, история русской журналистики, проблемы интерпретации, аксиология, всечеловек

Благодарность: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-90012 («Ф. М. Достоевский в русской критике. 1845–1881»).

Для цитирования: Викторович В. А. Эффект «Пушкинской речи» в русской журналистике // *Неизвестный Достоевский*. 2021. Т. 8. № 2. С. 122–156. DOI: 10.15393/j10.art.2021.5362

Original article

DOI: 10.15393/j10.art.2021.5362

The Effect of the Pushkin Speech in Russian Journalism

Vladimir A. Viktorovich

*State Social and Humanitarian University
(Kolomna, Russian Federation)*

e-mail: VA_Viktorovich@mail.ru

Abstract. The article presents a systematic analysis of the Russian press of 1880, which actively responded to Dostoevsky's Pushkin Speech. The interpretive boom around his speech is of particular interest for the study of the formative processes of public and national consciousness in Russia. In the history of journalism, the debates that took place at that time can be equated with modern information wars. At the same time, this episode is one of the decisive ones for the 'Dostoevsky problem' in criticism and, more broadly, in the Russian public consciousness. The "Pushkin Speech" was obviously of a unifying nature, but it, and even more so the 1880 "A Writer's Diary," caused a severe split in journalism, which reflected the mindset of the Russian society. At first, there is a change of semantic accents in telegrams and correspondence, and then the key concept of «panhumanity» is presented exclusively as a "dream" in publications opposing Dostoevsky, one that is not only incompatible with reality, but also distracts from pressing socio-economic problems. There is also an expansion in meaning in the form of the notorious "messianism" of Dostoevsky. The most commonly used concept used by journalists that are hostile to the writer is mysticism as a euphemism for faith. In parallel, a different understanding of the Pushkin speech is being formed in some publications (*Mysl'*, *Nedelya*, *Novoe Vremya*, a little later — *Rus'*). It views it as a verbalization of the national idea in its focus on the panhuman as a feasible ideal. The dispute that ensued around Dostoevsky's speech led to the self-determination of the leading trends of Russian thought.

Keywords: reception of Dostoevsky's Pushkin Speech, history of Russian journalism, problems of interpretation, axiology, panhuman

Acknowledgements: The reported study was funded by RFBR, project number 18-012-90012 ("F. M. Dostoevsky in Russian Criticism. 1845–1881").

For citation: Viktorovich V. A. The Effect of "Pushkin Speech" in Russian Journalism. In: *Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky]*, 2021, vol. 8, no. 2, pp. 122–156. DOI: 10.15393/j10.art.2021.5362 (In Russ.)

«Пушкинская речь» Ф. М. Достоевского, сказанная 8 июня 1880 г. на открытом заседании Общества любителей российской словесности в зале московского Благородного собрания, сразу же стала объектом беспрецедентного внимания множества средств массовой информации, газет и журналов. Отклики на нее рассматривались в научных исследованиях (см. «Список литературы»), однако в настоящее время назрела необходимость как расширения источниковой базы вплоть до включения в нее всех печатных отзывов, так и системного их анализа. Мы рассмотрим три этапа рецепции «Пушкинской речи»: 1) от момента произнесения до публикации в «Московских ведомостях», 2) от газетной публикации до выхода «Дневника Писателя» 1880 г., 3) после выхода «Дневника Писателя».

1

Самые ранние отклики на выступление Достоевского появились в печати на следующий день после события. Их значение в том, что по ним большинство русских читателей (исключая непосредственных слушателей речи), впервые узнавали о ее содержании до того момента, когда она была опубликована полностью в «Московских ведомостях» (13 июня)¹. Первое впечатление бывает крайне важным, иногда предопределяющим, в данном случае интересно также, что именно услышали, поняли и понесли читателям русские журналисты.

Первыми были телеграммы. Две основные принадлежали Международному телеграфному агентству (МТА) и корреспонденту газеты «Голос» (хозяином и там, и там был А. А. Краевский), и обе, как бы дополняя друг друга, сначала были напечатаны в «Голосе» 9 июня. Вскоре они были опубликованы в других газетах (их полный список см.: [Викторovich, 2020: 49–50], к этому списку следует добавить газету «St. Petersburger Zeitung», в которой перевод телеграммы «Голоса» на немецкий язык был напечатан в тот же день, 9 июня, что и в самом «Голосе»; как это могло произойти, нам пока не ясно). Телеграмма «Голоса» имела значительно больший успех в других газетах предположительно еще и потому, что перепечатка из газеты была бесплатная, а телеграфному агентству надо было платить.

Приведем текст наиболее растиражированной телеграммы «Голоса», выразившей (а для читателей по всей России и создававшей) первое впечатление от речи Достоевского.

«Москва, воскресенье, 8-го июня. Сегодня, в 2 часа пополудни, состоялось, при громадном стечении публики, второе заседание Общества любителей российской словесности. Заседание открылось речью второго председателя Общества, г. Чаева, после которого читал Ф. М. Достоевский. Это было мастерское, полное силы, остроумия и задушевной теплоты чтение. Разделив поэтическую деятельность Пушкина на три периода, г. Достоевский, прежде всего, заметил, что уже в первом периоде, несмотря на проявляющуюся у Пушкина подражательность европейским поэтам, Андре Шенье и Байрону, довольно ярко выразилась самостоятельность творчества. Через оба первые периода проходит один тип: сначала Алеко в “Цыганах”, потом Евгений Онегин — тип русского скитальца, скучающего мировой тоской, скитальца, которому, чтобы успокоиться, нужно всемирное счастье. Тип этот еще существует и в настоящее время. Проследив историческое происхождение и историческую необходимость этого типа в русской жизни и рассмотрев все его стороны, оратор перешел к другому, созданному Пушкиным, также чисто русскому типу, типу положительной красоты — Татьяне, которая представляет собою апофеоз русской женщины. “Весь второй период деятельности Пушкина, — продолжал г. Достоевский, — отмечен тем, что мы называем народностью. В творчестве его проявилось высшее выражение народной жиз-

ни и оттого все созданные им типы так глубоко правдивы: они стоят, как изваянные. Наконец, третий период представляет собою выражение идей всемирных. Здесь Пушкин является даже чудом. В европейской литературе нет гения, который обладал бы такою отзывчивостью к страсти всего мира. Пушкин один владеет этим даром и в этом заключается его высокое значение как русского народного поэта, так как в нем во всей своей полноте выразился характер русского народа. Всемирность, общечеловечность — цель русской народности; стать русским значит, в конце концов, стать братом всех людей, всечеловеком. Для настоящего русского Европа и вообще успехи арийского племени так же дороги, как сама Россия. Кто не согласится, что даже в государственной политике Россия в последние два века служила Европе более, чем самой себе. Историческое призвание России в том, чтобы изречь слово примирения, указать исход европейской тоске. Пусть наша земля — нищая в экономическом отношении, но почему же не ей суждено сказать последнее слово истины? Это предположение может быть названо смелой фантазией, но существование у нас Пушкина дает надежду, дает нам право предполагать, что эта фантазия осуществится. И это было бы еще ближе, возможнее, если б Пушкин жил более; но он умер и унес с собою в гроб великую тайну”. Может быть, никогда еще стены залы Благородного собрания не были потрясемы таким громом рукоплесканий, какой раздался вслед за заключительными словами г. Достоевского. Члены Общества вскочили со своих мест, пожимали ему руки. Через несколько минут председатель заявил, что Общество тут же постановило избрать Федора Михайловича своим почетным членом. После этого заявления рукоплескания сделались еще восторженнее» («Голос», 9 июня и мн. др. газеты).

Некий либеральный журналист вскоре не без яда заметит, что «краткость телеграммы вызвала предположения, возбуждала воображение, заставляла предполагать что-то гораздо большее, чем было в действительности. Краткое извлечение из речи убило самую речь» («Молва», 15 июня, анонимный обзор «Из газет и журналов»). Так или иначе, но можно действительно представить некоторое недоумение читателей телеграфного сообщения: описывалось небывалое потрясение слушателей, а пересказ потрясшего всех текста не мог объяснить причину удивительного перевозбуждения. Таков был первый парадокс «Пушкинской речи».

Репортер «Голоса», как видим, довольно невнятно толкует заявленную Достоевским пушкинскую «способность всемирной отзывчивости» (*МВед.*) как «отзывчивость к страсти <?> всего мира». Верно поставлено ключевое слово «всечеловек» (как и у Достоевского, вслед за «братом всех людей» (*МВед.*)), но вне контекста речи оно могло действительно произвести странноватое впечатление. К тому же не объяснено, что представляет собою то «последнее слово истины», которое «укажет исход европейской тоске», т. е. не раскрыта ударная концовка «Пушкинской речи». Международное телеграфное агентство рискнуло сказать чуть больше:

«Оратор перешел затем к вопросу о великой мировой будущности России. “Она, — он верит, — призвана разрешить недоразумения, волнующие духовный мир наших братьев на всем пространстве Европы! Чистая сердцем, обильная любовью, она объединит народы в духе братской любви, завещанной миру Христовою заповедью”...» («Голос» 9 июня и др. газеты).

Характерны здесь отстраняющая оговорка «он верит» и абстрактно-благодное определение России как «чистой сердцем, обильной любовью». В пересказах потускнело восходящее к Тютчеву откровение («эту нищую землю “в рабском виде исходил благословляя” Христос») и как-то затерлось, усреднилось заявленное «великое указание» Пушкина на «всемирность стремления русского духа» (*МВед.*).

Поэтому-то Достоевский в письме С. А. Толстой 13 июня сетовал: «Главное же, я, в конце речи, дал формулу, слово примирения для всех наших партий и указал исход к новой эре. Вот это-то все и почувствовали, а корреспонденты газет не поняли или не хотели понять» (*ДЗ0*; т. 30₁: 188).

К «формуле» ближе всех, кажется, подошел тогда Н. П. Гиляров-Платонов, на следующий день после речи в передовой статье издаваемой им газеты сказавший: «Никогда с такою глубиной не анализирован был наш великий поэт отчасти, а отчасти и идеалы русского народа». И далее:

«...на идеалах, которые он [Достоевский] вывел из его [Пушкина] творений, одинаково примирились лица разногласных, по-видимому, направлений. Это был праздник действительно совершившегося единства в сознании. <...> самый анализ характеров и положений, выводы нравственных оснований, вот что поражало необыкновенной силой и глубиной...» («Современные известия», 9 июня).

Сказано пронизательно и заявлено ключевое слово «идеалы», но уж очень конспективно; автор обещал впоследствии развернуть намеченное, однако обещания, увы, не выполнил. Последовавший на другой день в «Современных известиях» более подробный отчет мало чем отличался от приведенного выше отчета «Голоса». Впоследствии Гиляров в своих суждениях и вовсе отошел от первоначального своего посыла, укоряя Достоевского в гадательном «мессианизме» [Викторovich, 2013: 93].

Провозглашенная Достоевским «всечеловечность» русского гения трактуется «Русской газетой» (10 июня) не очень вразумительно — как «уменьше всенародного воплощения своего гения», — а вот автор «Нового времени» (очевидно, В. П. Буренин) в тот же день по-своему объясняет заявленную Достоевским способность русского человека к «перевоплощению своего духа в дух чужих народов» (*МВед.*): это значит якобы «не делать различия между племенами» и тем самым «угадывать будущее всемирное братство» («Новое время», 10 июня).

Если до сих пор мы имели дело только с неточностями изложения и с недопониманием при общем положительном восприятии, то уже 10 июня прозвучала и первая опровергающая реплика в анонимном обзоре «Из газет и журналов», напечатанном в либеральной газете «Молва». Автором, вероятно, был Э. К. Ватсон (давний оппонент Достоевского крайне западных взглядов), из Петербурга не выезжавший и Речь не слышавший. Он оттолкнулся от приведенного выше телеграфного пересказа, следующим образом передав ключевое предложение:

«Всемирность, общечеловечность, — так говорил г. Достоевский, — цель русской народности; стать русским значит стать всечеловеком» («Молва», 10 июня).

Как видим, телеграфное сообщение было подвергнуто неслучайному сокращению. В полном виде, напомним: «...стать русским значит, в конце концов, *стать братом всех людей, всечеловеком*» (*здесь и далее выделено нами.* — В. В.). На этот усеченный тезис журналист бойко возразил:

«Всё это очень заносчиво и потому фальшиво. Что это за выделение России в какую-то мировую особь, в избранный Богом народ? Мы то же, что и другие. Будем воспитывать в себе всечеловеческие идеалы, будем стремиться к общему сближению и умиротворению, будем трудиться наравне с другими и будем радоваться, если Господь поможет нам не отставать от других и идти на одном уровне с другими по пути общечеловеческого развития и совершенствования» («Молва», 10 июня).

Эту отрезвляющую мысль неоднократно будут выдвигать оппоненты Достоевского: нам, русским, хотя бы не слишком отстать, а не то чтобы вести за собой. Через два дня, очевидно, тот же автор вновь и с еще большим азартом потешался над цитатами из речи Достоевского, которые растиражировали газетчики:

«Если, вращаясь в атмосфере полицейского участка, мы можем помышлять об уничтожении “европейской тоски” и за обедом московской думы примиряться с тем, что “наша земля нищая в экономическом отношении”; если мы помышляем теперь о том, какой “исход указать” Европе, а не о том, как бы нам самим избавиться от гнетущей нас тоски, как бы освободить и окрылить полную умственную работу, прекратить насильственные вторжения в сферу совести; если мы не заботимся по крайней мере о том, чтобы хотя цены на мясо не делали его мало доступным даже для среднего класса населения и четверть пшеницы не достигала 17 рублей, — то какого же добра ждать от оживления “добрых чувств”, которым служила муза чествуемого поэта?»

Нет, не об Европе, не о мировых задачах, полагали мы, должен напомнить истинно национальный пушкинский праздник. Мы были уверены и до сих пор убеждены, что воспоминание о великом поэте, безвременно угасшем и много пострадавшем от нашей внутренней неурядицы, воскресит в нас любовь к самой России и заботу о ее насущных потребностях. Наши представления о нашей родине и о наших задачах гораздо скромнее. Они также основываются на уважении и любви к России, но не отрицают и уважение к другим народам. Мы полагаем, что не нам еще спасать и поучать других. В нас теплится вера, что русский народ окажет услуги общечеловеческому развитию, но для этого он прежде всего должен умственно и материально дорасти до тех ступеней, на которых стоят более образованные и передовые народы» («Молва», 13 июня).

Достоевский вполне предвидел такого рода обвинения и опережающе ответил на них в Речи: «Почему же нам не вместить последнего слова Его [Христа]? Да и сам он не в яслях ли родился?» (*МВед.*). Однако в глазах оппонентов этот аргумент ничего не стоил: Россия как «полицейский участок», «цены на мясо» и заветный пример «передовых народов» явно перевешивали. Намек же на участие, в числе других гостей праздника, в сытном и даже роскошном думском обеде в честь открытия памятника Пушкину в виду «нищей земли» низводил Достоевского в разряд жирующих адвокатов угнетателей. Пока это был только намек, но совсем скоро в спорах о «Пушкинской речи» он дорастет до прямых оскорблений «запродавшегося» автора «Записок из Мертвого Дома». Подобный шаг при обострении идейной борьбы делается почти незаметно, на него толкает соблазн легкой победы над идейным противником.

Но вернемся к первым дням после произнесения «Пушкинской речи». После «Молвы» другие либеральные издания также пошли в наступление. Одни — пока еще довольно осторожно, например В. А. Гольцев, сделавший акцент на актуальности русского скитальца: «Тип <...> необходимый исторически, до сих пор не утратил своего значения» («Русский курьер», 11 июня)². Иные контрмеры принял анонимный автор «Русских ведомостей» (11 июня): он объяснил читателям, что скиталец, по Достоевскому, «является продуктом русской “бессмысленной” (sic) интеллигенции». Так, якобы дословно (на что указывали кавычки и скобочное sic), передано было замечание Достоевского о «сбивчивой и нелепой жизни нашего русского интеллигентного общества» (*МВед.*). Так было услышано или так хотелось услышать? Та же газета впервые высказала повторявшееся затем негативное объяснение грандиозного успеха Достоевского:

«Сказать массе в глаза, да притом в художественно-восторженной форме, напоминающей страницу из апокалипсиса, что масса эта составляет “избранный Богом народ”, из которого должен выйти новый мессия для

спасения человечества, что она сама коллективный мессия, — значит обеспечить себе ее энтузиазм» («Русские ведомости», 11 июня).

Это был сильный ход — обвинение в мессианизме. Услышанное или как-то вычитанное «избранный Богом народ» (опять же в предательских кавычках) — вольный перевод слов Достоевского «назначение», «удел», «предназначено» (*МВед.*), также и в телеграммах и первых корреспонденциях ничего не было об «избранности», это уже *прибавка* либеральной газеты, имевшая, впрочем, продолжение: и до сих пор в литературе о «Пушкинской речи» неугомонно муссируется ее «мессианизм».

На следующий день в газете «Страна» появилась передовая статья, вероятно, принадлежащая литературному критику, историку литературы А. И. Введенскому (в последующих публикациях «Страны» 26 июня и 10 июля, подписанных его именем, повторяется высказанное здесь неприятие идеи «всечеловека», правда более злобное). Опять же судя речь Достоевского по пересказам, автор статьи усомнился в том, что «всечеловечность» принадлежит только русскому гению. Показав свою эрудицию (Шекспир, Гюго, немецкие писатели тоже проявили «всечеловечность»), критик на этом не остановился.

«Но главное — к чему всё это? Представим себе общество, которое сочло бы себя удовлетворенным такой программой, какая заключается в “стремлении к великой гармонии”; это было бы общество мечтателей, а не деятелей. Оставался бы все-таки открытым вопрос о том, “как” стремиться к общей гармонии? Нужным ли окажется для этой цели начать с того, чтобы улучшить условия своего собственного быта? Но в таком случае ближайшая программа вовсе не заключается в стремлении к всечеловечности. Или же ничего у себя переменять не следует, а просто надо пылать любовью ко всему человечеству и утешать себя тем, что такова задача, специально возложенная на Россию Провидением? Но в таком случае — это есть программа застоя в настоящем с мечтою о “гармонии” в будущем» («Страна», 12 июня).

Акценты, как видим, расставлены вполне определенно и прокладывают дорогу к ударной статье А. Д. Градовского в «Голосе» 25 июня, так и названной: «Мечты и действительность» (о ней речь впереди). «Всечеловечность» — только мечта, не более, к тому же отвлекающая от насущных общественно-экономических проблем, главнейшая из которых далее и сформулирована автором в назидательном тоне:

«Русская мысль, уважаемый г. Достоевский, не есть стремление к всечеловеческой гармонии, но, как мысль каждого иного народа, она есть сознание главных потребностей народа и настоятельности их удовлетворения; русская мысль теперь заключается в том, что русское общество уже вполне созрело для прямого влияния на ход дел страны» («Страна», 12 июня).

Последнее утверждение отнюдь не было исключительным мнением автора «Страны», оно солидаризировалось с «мечтами» либеральной прессы вообще: Пушкинский праздник рассматривался ею как едва ли не начаток русского парламентаризма. Двигаясь в том же направлении, современные интерпретаторы в тогдашнем устремлении русской интеллигенции к демократизации общественного устройства усматривают исключительное значение Пушкинского праздника как эпохального события, не получившего, однако, своего развития (наиболее последовательно и объемно — [Левитт]). В таком прочтении есть, конечно, определенная часть истины, но только часть, и не самая большая. Так, невозможно с этих позиций понять значение «Пушкинской речи» и секрет ее потрясающего воздействия на слушателей. Было в ней нечто превышающее надежды на либерализацию страны; с высоты, на которую поднялся Достоевский, эти задачи, пусть даже и насущные, не выглядели стратегическими.

Как дальше развивались события в информационном поле русской печати?

Наиболее адекватными и сочувственными Достоевскому пересказами отметились два издания: «Новое время» (11 июня) и «Journal de St.-Pétersbourg» (13 июня), газета на французском языке, издававшаяся в Петербурге, полуофициальный орган министерства иностранных дел. Как мы полагаем, автором первой статьи был развернувшийся недавно в сторону Достоевского В. П. Буренин, исправивший указанную выше оплошность газеты (скорее всего, собственную, происшедшую от спешки). Автор второй статьи «Pouschkine jugé par les écrivains russes modernes» («Пушкин в оценке современных русских писателей») — редактор внутреннего отдела франкоязычной газеты М. А. Загуляев. И тот, и другой были аккредитованы на празднике (первый — вместе с редактором и возможным соавтором А. С. Сувориным), т. е. были непосредственными слушателями Достоевского. «Новое время» с этого момента становится деятельным апологетом Речи; несколько иная история у М. А. Загуляева, давнего защитника Достоевского, достаточно вспомнить его выступление против «башибузучества» («l'élément bachibouzouk») русской печати, нападавшей на автора «Бесов» и «Гражданина» (Загуляев). Точно так же и в указанной статье он пытается занять независимую, объективную позицию по отношению к одаренному писателю и глубокому мыслителю. В результате из-под пера Загуляева выходит одна из самых пронизательных интерпретаций и всего Пушкинского праздника как доказательства — перед лицом Европы — «мощной витальности нации» («Les journées des 6, 7 et 8 juin sont un de ces indices de la robuste vitalité d'une nation...»), которая сильнее всего дала себя знать именно в речи Достоевского. Журналист прогнозировал соответствующую реакцию Запада:

«Наверняка вызовет всеобщее удивление известие о том, что страна, которую считали погруженной исключительно в социальные и политические проблемы, с энтузиазмом организовала национальный праздник в честь самого любимого и самого знаменитого из своих писателей» (*Journal de St.-Petersbourg*», 13 июня).

Следует признать, что большинство журналистов, бывших слушателями Достоевского, передавали читателям некое спонтанное ощущение чего-то очень значительного, но не до конца понятного. Один из них, А. М. Дмитриев, зафиксировал довольно характерный отклик:

«— Я не знаю, что со мною! — говорил нам один петербургский литератор, наш дорогой гость. Только воду я пил сегодня, а между тем я пьян, я не владею своею головою! В ней до сих пор еще шумят и бунтуют эти святые мысли. До боли жгучие, они не дают мне покоя, но я... я и не хочу его!..» («Русская газета», 12 июня).

Столь же откровенно о потрясшем умы и сердца события высказались другие издания: «Чувствовалось, что на душе светло и хорошо, чувствовалось, что за эти дни стал лучше, выше, чище, но что, как и почему — оставалось неясным...» («Неделя», 15 июня); «не вполне ясное явление в настоящие смутные дни» («Нива», 21 июня).

В. О. Михневич дал тогда двоякое объяснение. С одной стороны, Достоевский всех «наэлектризовывал», действуя наподобие «средневекового вдохновенного аскета-проповедника, непременно фанатика вроде типичного Петра-пустынника. В нем чувствуется та же беззаветная вера в себя, в свою миссию и в свою истину, та же искренность и тот же оттенок фанатизма, готового за свою идею пойти на костер, а при случае посадить на него и противника, даже если он — родной брат». А с другой стороны, русская публика была внутренне готова и как бы ожидала слов, прозвучавших в Речи: «не могла она в данном настроении не принять восторженно учения, проповедовавшего мир и любовь, льстившего при этом нашему национальному самолюбию как народу, избранному некоторым образом Еговой» («Новости», 13 июня). Как водится, журналист своей иронией прикрывал очевидную растерянность перед свершившимся и не очень ему понятным явлением. Упрек в национальной «избранности», в одночасье растиражированный, в данном случае позволял обрести некое превосходство над оппонентом, хотя бы и мнимое.

На следующий день другой известный журналист, И. Ф. Василевский (Буква), подхватит удачные словечки своего коллеги («электризовал», «Петр-пустынник»), но уже без иронии, с чрезмерным пафосом: «фантастическая, неисчерпаемая, надо всем царствующая вера в правду, красоту и величие своих идеалов» («Молва», 14 июня). Слово как будто сказано («величие идеалов»), но не растолковано и подведено под определение «фантастическая

вера», предвиденное Достоевским («слова мои могут показаться <...> фантастическими» — *МВед.*). У него самого слово «вера» звучало вполне конкретно: «наша вера в нашу русскую самостоятельность» (*МВед.*).

Наступало время угасания «электричества» Речи. Начитавшись газет, «очнулся» от «гипноза» И. С. Тургенев и 13 июня послал наставительное (с точки зрения современного исследователя, «проницательное» — [Рибель: 270]) письмо редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу: «Эта очень умная, блестящая и хитроискусная, при всей страстности, речь всецело покоится на фальши, но фальши крайне приятной для русского самолюбия» (*Тургенев*). Фрагмент письма Тургенева почти без изменений и без указания на его авторство будет вставлен в статью о Пушкинском празднике в «Вестнике Европы» (Пыпин, 1880а: XXXIII).

Таков дуализм восприятия «Пушкинской речи»: свершившийся в момент ее произнесения акт национального самосознания позднее был истолкован либеральной прессой как «фальшь русского самолюбия». Достоевский легко распознал здесь подлог: «Неужели восторг был оттого, что мы всех могущественнее и длинноголовее» (*ДЗ0*; т. 26: 223). Подлог, тем не менее, в определенных кругах обретал силу непререкаемо авторитетного суждения. Речь Достоевского начинала обрастать искажающей ее мифологией.

2

После публикации текста речи в «Московских ведомостях» (13 июня) недоумение достигает значительную часть читателей, что выразил, к примеру, один из них (А. А. Майков, славист, педагог, публицист, двоюродный брат поэта): «Речь Достоевского полумистическая и если она произвела, как говорят, потрясающее действие, то конечно не содержанием, но произношением»³. «Мистицизм» — ярлык, давно (со времен «Бесов») навешенный на Достоевского. Как заклинание, повторяет его и В. О. Михневич, вернувшийся к своим впечатлениям от Речи в другом издании («Живописное обозрение», 21 июня).

«Мистицизм», «фанатизм», «фантастичность» — после таких слов можно уже и не допытываться о смысле. О каких-то не вполне понятных «идеалах», как мы видели, заговаривал Василевский. Также с готовностью отдавая должное «смело начертанным идеалам» в речи Достоевского, В. А. Гольцев сразу же ограничивал их начертание: «либеральные и гуманные идеи <...> должны быть ясны и определены: они не должны расплываться в бесформенном мистицизме» («Русский курьер», 18 июня). Сам Гольцев тут же и продемонстрировал эту «определенность» уже знакомым нам образом: «Русская интеллигенция прежде всего должна завоевать себе в государстве ту независимость и влияние, какими она пользуется на Западе». Речь Достоевского была, очевидно, не о том.

Были и другие интерпретации. Так, А. С. Суворин (Незнакомец) в своих «Недельных очерках и картинках» назвал речь Достоевского «апофеозом

праздника», объяснив потрясающий эффект возросшей значимостью «писателя-художника» («Новое время», 29 июня). Это и по сей день живучая трактовка «секрета» Речи (см. прежде всего: [Волгин: 354–356]), ведущая начало от слов П. В. Анненкова в первые минуты после ее произнесения: «Вот что значит гениальная художественная характеристика! Она разом порешила дело!» (*Страхов*).

Натиск на «Пушкинскую речь» после ее публикации постоянно нарастал. Двойственную позицию занял Г. И. Успенский: явно увлеченный Речью, он в своем отчете объяснил эту увлеченность тем, что для внимавшей оратору прогрессивной молодежи (и для него самого) «могли иметь значение сказанные Достоевским слова о неизбежности для всякого русского человека — жить, страдая скорбями о всечеловеческих страданиях» (*Успенский 1880а*: 189), хотя в тексте Речи, уже напечатанной, публицист «Отечественных записок» нашел отклонения («заячьи прыжки») от этой дорогой ему самому мысли. В. П. Буренин довольно язвительно и местами остроумно прошелся по «фантазиям» Успенского и поставил вопрос об «общем смысле» Речи и всего Пушкинского праздника: «русская жизнь и литература снова, после временного блуждания околицей, должны возродиться и принять национальное развитие» («Новое время», 27 июня). Идейные разногласия определили раскол вокруг «Пушкинской речи», но сегодня стоило бы заметить, что и в пересказе Глеба Успенского не всё было «фантазией»: услышанное им у оратора «беспокойство о несчастьи ближнего» действительно входило в состав «всецеловечности», но на более широком, универсальном, т. е. христианском основании. Отвергнув его, Успенский и за ним другой публицист «Отечественных записок», Михайловский, вволю потешились над финальным поступком Татьяны Лариной в интерпретации Достоевского, и в ряде изданий перелицовка «другому отдана — век ему верна» на «нанялся — проданся» (*Успенский 1880а*: 196) имела шумный успех. Достоевский и его оппоненты говорили на разных языках.

Особенно очевидно это стало после статьи А. Д. Градовского «Мечты и действительность» в газете «Голос» (25 июня). Уже само заглавие выдержано в назидательном тоне. Профессор-правовед Петербургского университета (выразитель именно профессорско-университетской оппозиции Достоевскому)⁴ как бы прочитал лекцию, толково и терпеливо внушая нерадивому студенту правильный образ мыслей. По поводу слов Достоевского «не вне тебя правда, а в тебе самом» и т. д. (*МВед.*), ученый уверенно заметил, что в них «г. Достоевский выразил “святая святых” своих убеждений, то, что составляет одновременно и силу, и слабость автора “Братьев Карамазовых”». В этих словах заключен великий религиозный идеал, мощная проповедь личной нравственности, но нет и намек на идеалы общественные» (*Градовский*). В дифференцировании личных и общественных идеалов состоял главный пункт полемики профессора с писателем, вокруг этого вопроса выстраивались и все остальные.

Последовательная проработка проблемы в области философии, этики и, как бы сейчас сказали, политологии, в конечном счете вела ученого-публициста к тезису, уже звучавшему в либеральной прессе, а теперь получавшему дополнительную научно-авторитетную прибавку:

«...Общественные идеалы нашего народа находятся еще в процессе образования, развития. Ему еще много надо работать над собою, чтоб сделаться достойным имени великого народа. Еще слишком много неправды, остатков векового рабства засело в нем, чтоб он мог требовать себе поклонения и, сверх того, претендовать еще на обращение всей Европы на путь истинный, как это предсказывает г. Достоевский» (*Градовский*).

В. П. Буренин в ответ жестко парировал: «В этом-то и заключается до наших дней суть российско-западнического либерализма: у нас всё скверно и ничего нельзя сделать без помощи европейских “идей”» («Новое время», 27 июня). В то же время знакомая нам уже газета «Молва» 26 июня перепечатала пространные выдержки из статьи Градовского в качестве «ответа г. Достоевскому на мистические фантазии» и дополнительно прокомментировала пророчество писателя о внесении русским человеком «примирения в европейские противоречия» как «пифическое прозрение в область будущего, выраженное галлюцинационным бредом». Всё это 27 июня продублировала «Вечерняя газета» — «двойник» «Молвы». Выдержки из статьи Градовского перепечатали 29 июня «Современные известия» и «Правда» (Одесса). В последней иронически замечалось, что «г. Достоевский навязывает нам миссию указать “исход европейской тоске в своей русской душе”»⁵. Мы наблюдаем, как вокруг «Пушкинской речи» продолжал расти частокोल навязчивых дефиниций: «мистические фантазии», «галлюцинации», «бред», «пифические прозрения»...

Положительное значение статьи Градовского заключалось в том, что она вывела споры вокруг «Пушкинской речи» на сущностные, фундаментальные основания разногласий. В свою очередь, это обстоятельство дало повод самому Достоевскому высказаться в субстанциальном ключе в «единственном выпуске» «Дневника Писателя» 1880 г. (цензурное разрешение 1 августа). «Гражданские идеалы, — отвечал Достоевский, — всегда прямо и органически связаны с идеалами нравственными, а главное то, что несомненно из них только одних и выходят. <...> А стало быть, “самосовершенствование в духе религиозном” в жизни народов есть основание всему <...>. Оно объемлет, зиждет и сохраняет организм национальности, и только оно одно» (*МВед.*).

Следует заметить, что Достоевский в предпринятом им онтологическом прорыве не оказался в одиночестве. Незадолго до «Дневника Писателя» вышел июльский номер журнала «Мысль» со статьей Л. Е. Оболенского «А. С. Пушкин и Ф. М. Достоевский как объединители нашей интеллигенции». Оболенский, недавний ишутинец, начитавшийся Достоевского⁶

и запальчиво отвергнувший «народопрезирающий либерализм»⁷ (его самого относят к правому крылу либерального народничества), дал наконец адекватный ответ обвинениям «Пушкинской речи» в пресловутом «мессианизме»:

«Если вы поняли меня, а, если вы только русский, вы не можете не понять, то вы поймете и то, что каждая нация обязана иметь такой “огненный столб”, который вел в пустыне племя Израиля, без этого знамени оно заблудится в степи, оно не захочет идти дальше, томимое жаждой и палимое зноем. Идеал нации — великая сила, великий библейский огненный столб: пока он светит, люди идут, даже умирая, идут, потому что видят *его*, потому что *верят*, потому что он светит, значит он есть, значит — придем. Этот идеализм есть и величайший реализм, ибо что ж реальнее, что же проще даже с физиологической точки зрения того, что уверенный в своих силах сильнее того, который убежден, что он бессилён: прочтите любого реалистического психолога, как Карпенгер, и он убедит вас в этом. Стало быть, идеал есть реальная, физическая сила, и эту-то силу Ф. М. Достоевский пробудил в русских сердцах, показал ее воочию, и его не забудут вовеки, как не забыт Моисей и его огненные столбы» (*Оболенский 1880а: 79*).

Далеко не всё принял затем Оболенский в «Дневнике Писателя» 1880 г., особенно его не устраивал, как ему казалось, чрезмерно воинственный тон полемики, заданный Достоевским (*Оболенский 1880b: 93*), отголоски этих упреков мы слышим и доныне. Трудно сказать, мог ли быть другим стиль публициста, спасающего от утилизации краугольные камни своих убеждений, но следует признать, что наступательный стиль августовского «Дневника Писателя» заметно отличался от примирительного пафоса июньской речи. Причиной была не только статья Градовского, но и другие выступления русской печати в промежуточные летние месяцы. Среди них выделяются отклики толстых журналов.

Наиболее основательной была статья А. Н. Пыпина «С пушкинского праздника» в июльском «Вестнике Европы» (вышел 1 июля). Она содержала обзор основных выступлений и ставила проблему исторического изучения творчества Пушкина. Речь Достоевского представлялась ученому и журналисту не адекватной строгим принципам историзма. Однако следовало объяснить беспрецедентный успех Речи у слушателей, и Пыпин предлагает толкование в духе формирующейся мифологии «обольщения»:

«...она подействовала — без сомнения, в значительной степени — потому, что сказана была перед аудиторией уже приготовленной к крайнему увлечению: несколько дней, проведенных в непрекращавшемся ряде сильных впечатлений, сообщили этой аудитории почти нервическое возбуждение, — по степени этого возбуждения ей требовалось всё больше увлекающих и обольстительных слов. Их предложил г. Достоевский» (*Пыпин 1880а: XXXI*).

Самым большим обманом, по указанию Пыпина, было «национальное самопрославление», которым оратор сумел увлечь аудиторию. Кстати, в стройные ряды трезвомыслящих настойчиво просится еще один автор, подтрунивающий над Достоевским:

«...он тут вознес нас, русских слушателей, на такую поднебесную высоту, с которой всё земное мелькало лишь крошечною, ничтожною точкою. У всех присутствовавших от таких похвал русскому народу на момент захватило дыханье...» (*Депутат*).

Анонимный «Депутат» верно-таки заметил «полетность» Речи, но поспешил осадить увлеченных ею подозрением в самопоклонении, в национальной автофилии. У этой мифологии и сегодня достаточно адептов, искренне убежденных, что «Пушкинская речь» несла в себе «фальшь», заключающуюся «в опасном, имевшем катастрофическое продолжение в европейской истории возведении русских в ранг всечеловеков» [Ребель: 274]. Эти наветы давно бьют мимо подлинного Достоевского, но мифологии подлинность и не нужна.

Пыпин решительно переосмыслил заявленную Достоевским русскую «всечеловечность»: в отличие от таковой в Европе, она обличает нацию, отставшую от ушедшего вперед культурного мира и вынужденную заимствовать чужие достижения. Равнять ее с западным вариантом, убежден автор, «непозволительно», поскольку у нас «народ остается без школ, общество — без возможности самодеятельности, литература — без элементарных условий, которые бы дали ей право считаться истинным выражением своего общества и народа» (*Пыпин 1880а: XXXII*). Если верить Пыпину, русская литература на момент 1880 г. не получила еще такого права. Также утверждалось, не в первый и не в последний раз, что Достоевский выступил против общественного прогресса, в то время как автор «Пушкинской речи» предложил *иную формулу* его (христианскую). Школы для народа и самодеятельность общества в этом контексте, разумеется, не отвергались, напротив, под них подводился реальный, если угодно, антропологический фундамент: люди в их истинном нравственном качестве, а не институции сами по себе являются основанием прогресса. Так, к примеру, институт местного самоуправления в виде земства был введен в эпоху реформ, проблема же заключалась, увы, в остром дефиците людского ресурса.

На критику Пыпина мгновенно отреагировал неутомимый В. П. Буренин:

«Почтенная редакция как будто хочет сказать <...>, что праздник — праздником, поэт — поэтом, а либерализм превыше всего: без либерализма несть спасения, а с ним всё приложится («Новое время», 4 июля).

Свое объяснение «всечеловечности» дал автор журнала «Слово», оставившийся перед указанием, что «русская народность <...> “не помирится дешево”, как на идеале всемирности, всечеловечности»: «Очевидно,

положение это старается убить зараз двух зайцев и одним глазом подмигнуть московским славянофилам и петербургским западникам» (*Корончевский?:* 158)⁸. В этом же направлении разоблачения двуличности Достоевского пошли автор журнала «Русское богатство» (*Очевидец*) и публицисты «Отечественных записок» (*Успенский 1880b; Михайловский 1880a*)⁹, выступившие тандемом в июльском номере журнала. Михайловский подытожил высказывания однопартийцев:

«...Речь эта пустая и не совсем умная шутка. Да, пустая, потому что человек не дал ни одного твердого вывода, ни одной неколеблящейся мысли, и не совсем умная, потому что “не можно век носить личин”» (*Михайловский 1880a*: 132).

Критик процитировал известное стихотворение Г. Р. Державина «Вельможа». Приведем контекст цитаты, чтобы понять, на что намекал ироничный журналист:

Осел останется ослом,
Хотя осыпь его звездами;
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами.
О! тщетно счастья рука,
Против естественного чина,
Безумца рядит в господина
Или в шумиху дурака,
Каких ни вымышляй пружин,
Чтоб мужу бую умудриться,
Не можно век носить личин,
И истина должна открыться.

Не столь язвителен был публицист «Дела» К. М. Станюкович. Ему, как и Глебу Успенскому, слышались в «Пушкинской речи» сердечно-близкие ноты, но при этом отталкивающее впечатление произвели очевидные христианские мотивы, пронизывающие последние произведения писателя (и прежде всего печатавшийся тогда роман «Братья Карамазовы»):

«Это — какое-то туманно-неопределенное искание “правды”, проповедь смирения и любви с оттенком мистицизма и с некоторым запахом постного масла. <...> Несомненная любовь к народу чувствуется в его речи и вместе с тем, когда вы прочтете речь, у вас остается некоторое недоумение и вы остаетесь в каком-то тумане. Вы не знаете, что именно хочет сказать художник, вы не можете, так сказать, перевести его идеалов на понятный язык. <...> у него мистицизм затемняет и те проблески истины, которые порой являются, хотя и в фантастическом виде. И вот почему речь его, производившая потрясающее впечатление на слушателей, в чтении производит далеко не то впечатление, несмотря на талантливость» (*Станюкович*)¹⁰.

Критика подобного рода особо настаивала на «фантастичности» «Пушкинской речи», что, по существу, означало неприятие утверждаемого писателем идеала как противоречащего законам действительности, известным этой критике (бессильной «перевести его идеалы на понятный язык»). Дискуссия приобретала аксиологическое значение. В спорах вокруг Речи и под воздействием ее противоборствующие стороны получили возможность более глубокой самоидентификации. То же самое происходило и с самим Достоевским при формировании уже «Дневника Писателя», «единственного выпуска на 1880», хотя сама Речь изначально носила очевидно объединительный характер. Сфера культуры, как представляется, проходит через процесс идейного дифференцирования, чтобы в итоге в ней проявилась интегративная природа идеала, как она и проявилась в «Пушкинской речи». «Пришел с прощением всех увлечений и крайностей. (Это я усиленно подчеркиваю.)» — так сам Достоевский определял скрытую интенцию Речи (ДЗ0; т. 26: 209). Эта ситуация отдает парадоксом, но культура и не знает линейного развития¹¹. Она прекрасно подходит к формуле: «единство без смешения и различие без разлучения» [Соловьев].

3

Ответ критикам Достоевский дал в моножурнале «Дневник Писателя. Единственный выпуск на 1880. Август», имевшем большой успех у публики, так что через месяц пришлось печатать второе издание. Вместе с тем наступательный настрой автора вызвал волну куда большей, чем ранее, агрессивной полемики.

Выпишем наиболее характерные перлы журналистики в хронологической последовательности, чтобы представить ход и основное значение встречного удара:

«В действительности он всех [западников] к “смердам” причисляет и нецеремонно отваливает по щекам. Это, извольте видеть, по-христиански и в народном духе! <...> православие, о котором вы так много кричите, числится больше на бумаге, в журнальных статейках разных “охранителей”, да в епархиальных отчетах» (Гр. Градовский, «Молва», 16 августа).

«Чего-чего не наговорил только г. Достоевский! И Европа-то гниет, и просвещения-то у нее нет, и рухнет-то она вся послезавтра, не позже, если русский человек не обновит ее своим “новым словом”! И говоря это, г. Достоевский даже не подозревает, что проповедывает невежество, сеет зло!» («Голос», 17 августа).

«Ф. М. больше крестится, чем рассуждает» (Ар. Введенский, «Страна», 17 августа).

«Перед вами болезненно мечется какой-то “блажен муж”, то гордо вскакивающий на риторические ходули богословского витийства, то ползающий в прахе пошлепкинского сплетничества самого пошлого злоязычия» (Коломенский Кандид <В. О. Михневич>, «Новости», 19 августа).

«Мистицизм — безжизнен и бессилён для общества, и неужели умственные и нравственные силы высокодаровитого автора “Записок из мертвого дома” и “Преступления и наказания” подавятся окончательно этим мистицизмом!» (А. Налимов, «Современность», 20 августа).

В том же духе выступили газеты «Петербургский листок» (21 августа), «Страна» (31 августа), «Молва» (3 сентября). Нетрудно заметить, как то и дело выступает вперед раскручиваемый журналистами термин «мистицизм» в качестве эвфемизма к слову «вера». Как со всей прямотой заметил автор «Дневника писателя» 1880 г. и «Братьев Карамазовых» (их параллельные публикации поддерживали друг друга и давали лакомую пищу отменно секуляризованной критике): ругают «за Бога» (*ДЗ0*; т. 30₁: 235). Следом за газетами поспешали журналы. Про «деревянное масло» или «лампадное» (ходовая по поводу Достоевского метонимия), коим «помадится» автор «Дневника», не преминул связать Н. К. Михайловский в сентябрьском номере «Отечественных записок» (*Михайловский 1880b*: 126). В другом передовом журнале читаем:

«Это бред какого-то юродивого мистика, а отнюдь не суждение здравомыслящего человека. Мы уважаем в г. Достоевском религиозного человека, но зачем же доводить религиозность до абсурда, до отрицания необходимости научного образования. Ведь никто не станет возражать, что религиозное чувство, доведенное до абсурда, породило инквизицию и скопчество» (*Insident*).

Кардинальное заявление взял на себя автор «Русского богатства», вышедшего 13 сентября: «г. Достоевский не уважает человека» (*Протопопов*: 15). По мнению представителя левого народничества, «весь вопрос человечества <...> сводится к следующему: каким образом примирить права каждого с правами всех?» Необходимый исторический процесс эмансипации личности привел к тому, что она утратила «чувство своей солидарности с обществом». Отстав от западной цивилизации, русский народ сохранил в себе способность «класть душу свою за други своя», однако, увы, так и «не выработал сознания личности» (*Протопопов*: 17).

«Для г. Достоевского, очевидно, в особенности дорога эта приниженность личности перед общею волею, приниженность, прекрасно гармонирующая с проповедью г. Достоевского о “смирении”. Он ставит эту приниженность в особую заслугу нашему народу» (*Протопопов*: 18).

Само слово «смирение» с выхолощенным из него христианским содержанием стало в рецепции «Пушкинской речи», где оно прозвучало с особенной силой, камнем преткновения для тогдашней и всей последующей «прогрессивной» критики: в ложном понимании слова Достоевского со всей очевидностью проявился глубинный конфликт ценностей (см.: [Викторович, 1991]).

«Господин, именующий себя восторженным любителем народа и из-за начальства не видящий этого самого народа» — так размашисто трактует автора «Дневника Писателя» один из тогдашних «властителей дум» (*Михайловский 1880b*: 128). С ним солидарен и другой, стыдящийся Достоевского: «Ваш “талант” таскает каштаны для них», угнетателей народа (*Протопопов*: 27). Даже сочувствующий Достоевскому автор, поддавшись общему «веянию», задается вопросом: «Почему с крепостниками, действительно заслуживающими эпитета “обагряющих руки”, он живет душа в душу» (*Оболенский 1880b*: 95). В этой же плоскости лежит обвинение Достоевского в том, что он игнорирует «материальную сторону существования в народной жизни» («Русский курьер», 28 сентября). Против «елейных взглядов г. Достоевского» продолжало горячо выступать и «Русское богатство» (*Паночини*).

Для финала своей многословной статьи ведущий публицист «Отечественных записок» приберет главный и, как ему, очевидно, представлялось, неотразимый аргумент против Достоевского:

«Ах, господа, дело, в сущности, очень просто. Если мы в самом деле находимся накануне новой эры, то нужен прежде всего свет, а свет есть безусловная свобода мысли и слова, а безусловная свобода мысли и слова невозможна без личной неприкосновенности, а личная неприкосновенность требует гарантий. <...> А искать себя в себе под собой — это просто пустяки» (*Михайловский 1880b*: 140).

Как видим, предлагая отличную от Достоевского шкалу ценностей, Михайловский не слишком далеко ушел от обоих Градовских и Пыпина. Речь велась именно о шкале, т. е. иерархии ценностей, ведь Достоевский ни в коей мере не покушался на собственное значение так называемых либеральных ценностей, которые кинулись защищать от него его оппоненты.

Удивительно, но остроумнейший противовес одномерному Михайловскому мы находим в том же самом сентябрьском номере «Отечественных записок», и не в очерке Глеба Успенского (до некоторой степени сочувствовавшего Достоевскому), а в сочинении яростного противника «Пушкинской речи» (судя по личной переписке) — я имею в виду М. Е. Салтыкова-Щедрина и его «пьесу» «Мальчик в штанах и мальчик без штанов» из цикла «За рубежом». Выпишем из журнального варианта финальную часть диалога между немецким мальчиком («в штанах») и русским («без штанов»):

Мальчик в штанах. (Хочет что-нибудь выдумать, но долгое время не может; наконец выдумывает). Я полагаю, что вам без немцев не обойтись!

Мальчик без штанов. Натко, выкуси!

Мальчик в штанах. Опять это слово! Русский мальчик! я подаю вам благой совет, а вы затвердили какую-то глупость, и думаете, что это ответ. Поймите меня. Мы, немцы, имеем старинную культуру, у нас есть солидная наука, блестящая литература, свободные учреждения, а вы делаете вид, как

будто все это вам не в диковину. У вас ничего подобного нет, даже хлеба у вас нет — а когда я, от имени немцев, предлагаю вам свои услуги, вы отвечаете мне: выкуси! Берегитесь, русский мальчик! это с вашей стороны высокоумие, которое положительно ничем не оправдывается! <...> Вот уже двадцать лет, как вы хвастаетесь, что идете исполинскими шагами вперед, а некоторые из вас даже и о каком-то “новом слове” поговаривают — и что же оказывается? — что вы беднее, нежели когда-нибудь, что сквернословие более, нежели когда-либо, регулирует ваши отношения к правящим классам, что Колупаевы держат в плену ваши души, что никто не доверяет вашей солидности, никто не рассчитывает ни на вашу дружбу, ни на вашу неприязнь... ах!

Мальчик без штанов. Ахай, немец! а я тебе говорю, что это-то именно и есть... занятное!

Мальчик в штанах. Решительно, ничего не понимаю!

Мальчик без штанов. Где тебе понять! Сказывал уж я тебе, что ты за грош черту душу продал — вот он теперь тебе и застит свет!

Мальчик в штанах. “Сказывал”! Но ведь и я вам говорил, что вы тому же черту задаром душу отдали... кажется, что и эта афера не особенно лестная...

Мальчик без штанов. Так то за даром, а не за грош. Задаром-то я отдал — стало быть, и опять могу назад взять... Ах, колбаса, колбаса!» (*Салтыков-Щедрин 1880: 326–328*).

Нетрудно заметить, что в фантастическом диалоге, отзывающемся на споры вокруг «Пушкинской речи» Достоевского и его «Дневника Писателя», все преимущества сытной и хорошо организованной жизнедеятельности — на стороне «мальчика в штанах», однако скучно и не «занятно» «мальчику без штанов» купленное у чёрта благополучие. Преимущество подлинной свободы от чёрта остается в конечном счете за бесштаным. Такой вот сюрприз преподнес своим соратникам «сатирический старец»!

Наиболее разнузданную критику на себя Достоевский мог прочесть в сентябрьском номере «Дела» (журнал как бы дезавуировал предыдущее цитированное нами куда более уважительное выступление К. М. Станюковича) под глумливым названием «Романист, попавший не в свои сани». Авторство этой статьи до сей поры либо никак не определялось ([Фридлендер, Крыжановский: 488], [Летопись: 477]), либо приписывалось Г. Е. Благосветлову [Левитт: 237]. Последний, оставаясь до смерти, последовавшей 7 ноября 1880 г., формальным редактором журнала, в то время (номер вышел 25 сентября) уже отошел от дел по болезни, и фактическим редактором «Дела» был радикальный публицист и критик Н. В. Шелгунов. Кроме этого обстоятельства, главными приметами его авторства можно считать следующие:

- 1) в литературно-общественных кругах Шелгунов прославился как «пламенный западник»¹², убежденный в том, что свет мог распространяться только из Европы;
- 2) содержащийся в статье подробный экскурс в русскую историю для обличения отечественного «рабства» и «звериной дикости» (коих он не замечает в европейской истории) — любимый конек Шелгунова;
- 3) сказанное в статье об истории Великого Новгорода повторяет ранее опубликованные Шелгуновым соображения о том, что «действительного народоправства в Новгороде никогда не было», что «Новгород был русским окном в Европу, и, однако, через это окно не прошло к нам ни единого луча света, ни одной европейской идеи» (*Радюкин*: 97, 102). Настоящая русская история, по Шелгунову, началась только с Петра Великого, поэтому и отыскание здоровых национальных корней в истории Древней Руси у Достоевского представляется публицисту-европоману абсолютным невежеством.

В общей оценке «Пушкинской речи» и «Дневника Писателя» Шелгунов ничуть не стесняется в выражениях:

«В этом непроглядном, полумистическом, полупророческом и чревоушатательском тумане ничего не разберешь; никакая логика и никакой здравый смысл неприменимы к этой литературной кабалистике. А между тем все это говорится с самоуверенностью глашатая великих откровений, с пафосом фанатика или с келейным смирением псалмовщика. <...> страшно не за повсеместную гибель Европы, а... за патологические симптомы мозга самого прорицателя» (*Шелгунов*).

К справедливости и хотя бы минимальной объективности призвал процитированных выше журналистов редактор и ведущий автор либерально-народнической «Недели» (к слову сказать, ближайший сосед Достоевского по Старой Руссе) П. А. Гайдебуров:

«Этот самый дневник вызвал ожесточенные нападки <...> в двух <...> журналах: в «Деле» и «Русском богатстве». Сущность этих нападок уловить трудно, да, строго говоря, в них никакой сущности и нет: это просто сплошное издевательство над г. Достоевским, без малейшей попытки отделить в его взглядах зерно от мякины» (*Гайдебуров*: 1285–1286).

Гайдебуров довольно тонко прочувствовал тогда природу публицистического слова Достоевского, приблизившись в этом к упомянутому выше Л. Е. Оболенскому:

«Его воззрения страдают недостатком практичности, в них нет переходных ступенек, которые, конечно, необходимы. Но ведь он и не претендует на практичность; идеалистический радикал, если можно так выразиться, он смотрит далеко вперед, видит там яркую звезду и зовет к ней; указывать

пути совсем не его дело: он только носитель идеала. Дурен этот идеал в своей основе, очищенный от случайных примесей? Заслуживает ли нареканий, или, напротив, имеет полное право на уважение этот идеал светлой, беззаветной любви? Господа, бросать грязью в такие вещи значит пачкать самих себя!..» (*Гайдебуров*: 1286).

Увы, далек оказался от такого понимания даже автор солидного «Вестника Европы», укрывшийся за криптонимом «В. В.». До недавнего времени статья эта приписывалась В. П. Воронцову (см.: [Фридлиндер, Крыжановский: 489], [Летопись: 480]), однако недавно был документально выявлен подлинный автор — А. Н. Пыпин (см.: [Китаев]). Причина строгой секретности, когда известный автор спрятался за чужой криптоним, кроется, вероятно, в том, что агрессивно-публицистический стиль статьи, переходящий на личности, не соответствовал желанному для Пыпина статусу солидного академического ученого (в 1871 г. он был избран, но не утвержден адъюнктом Академии наук, куда-таки вошел в 1891). Во взятой им на себя миссии «остановить Достоевского» действительно не было ничего академического:

«Что сказать об этом походе против “либерализма”? Первое, что спорить правильно против г. Достоевского нет никакой возможности; потому что изложение его не есть вовсе последовательное развитие какой-либо мысли, а раздражительное словоизвержение, ясно показывающее, что автор резонов слушать не намерен, что им овладела страсть и то жестокое настроение, при котором аргументация невозможна и бесполезна. Эта страсть — крайне неумеренное самолюбие, это настроение — мистицизм» (*Пыпин 1880b*: 812).

«Вестник Европы» на время оставил должность либеральной полиции нравов, когда следом опубликовал на своих страницах «Письмо Ф. М. Достоевскому» К. Д. Кавелина. (Впрочем, в том же номере во «Внутреннем обозрении» «Дневник Писателя» назван «картонным мечом» «реакционной печати» (*Арсеньев*: 377–378)). Философ-правовед с первых же строк отрекся от способа ведения полемики подавляющим большинством оппонентов Достоевского, а в их числе и соседей по журналу:

«Вы произнесли слово: примирение партий. Да, кончить личные счета, прекратить литературные турниры, вертящиеся на остроумии, оставить дрянные, плоские и пошлые взаимные обвинения — пора, давно пора! Пора спокойно, отбросив личности и взаимное раздражение, откровенно и прямо объясниться по всем пунктам. <...> Наши русские споры отравлены при самом их начале тем, что мы редко спорим против того, что человек говорит, а почти всегда против того, что он при этом думает, против его предполагаемых намерений и задних мыслей» (*Кавелин*: 433).

Призыв к объективности вызвал в русской печати неоднозначную реакцию: А. И. Введенский («Страна», 6 ноября) и Г. К. Градовский («Молва», 14 ноября) не вняли ему и остались при своих жестких оценках Достоевского, а вот В. В. Чуйко («Новости», 7 ноября) и анонимный автор «Недели» (16 ноября), возможно, тот же П. А. Гайдебуров, воздали должное «спокойной» речи ученого.

Освободившись от «негодного придатка» крайнего субъективизма, Кавелин повел диалог с идейным противником по всем правилам научного диспута. Он прежде развернул собственное понимание «европеизма», отчасти соглашаясь с Достоевским в том, что «европеизм, орудие образования, по мысли Петра и государственных деятелей его школы, превратился в орудие угнетения», «в гнетущую, заскорузлую формалистику» (Кавелин: 435–436). Следует остерегаться как «рабского поклонения перед Европой», так и квасной «самоуверенности и задора» (Кавелин: 441–442). Однако и «нравственные качества русского простого народа» вызывают у Кавелина желание оспорить Достоевского:

«Вы будете превозносить простоту, кротость, смирение, незлобивость, сердечную доброту русского народа; а другой, не с меньшим основанием, укажет на его склонность к воровству, обманам, плутовству, пьянству, на дикое и безобразное отношение к женщине; вам приведут множество примеров свирепой жестокости и бесчеловечия. Кто же прав: те ли, которые превозносят нравственные качества русского народа до небес, или те, которые смешивают его с грязью? Каждому не раз случалось останавливаться в раздумьи перед этим вопросом. Да он и не разрешим!» (Кавелин: 442–443).

Православие, по убеждению Кавелина (отчасти чаадаевскому), не только не дает преимущества «душевному» русскому человеку сравнительно с «дрессированным» европейцем, но и формирует пренебрежение к «дейтельной, преобразовательной стороне христианства» (Кавелин: 447), утилизированной на Западе. Далее спор с Достоевским переводится на само понимание нравственной природы человека. В противоположность религиозному генезису добра у Достоевского Кавелин предлагает определять его как сугубо личностный настрой, образуемый однако «хорошими общественными условиями» (а не наоборот, как доказывал Достоевский). Эти условия, полагает он, надо «сперва выработать <...> в лаборатории строгой и точной науки», «силою доводов, аргументами современного знания поставить людей лицом к лицу с нравственной правдой и показать, что все пути неизбежно ведут к ней» (Кавелин: 441).

Таким образом, отвергнув «мистический» идеализм Достоевского, Кавелин на его место поставил идеализм просветительского сциентизма. «Казалось бы, Кавелин требует больше внимания к жизни, однако жизнь понимается им достаточно рассудочно», — пишет о диалоге профессора с писателем современный исследователь [Кантор]. Достоевский собирался

подробно отвечать своему оппоненту в «Дневнике писателя» 1881 г., однако смерть помешала продолжению в высшей степени знаменательной дискуссии. В записных тетрадах писателя остались наброски к полемике, среди которых мы находим и формулу последнего убеждения Достоевского: «Если мы не имеем авторитета в вере и во Христе, то во всем заблудимся» (*ДЗ*; т. 27: 85).

4

В истории восприятия «Пушкинской речи» нас поражает контраст между «слушателями» и «читателями». В течение очень короткого времени состоялся переход от единодушного согласия с оратором к непримиримому спору с писателем. В глазах большинства современников Достоевского и выражавших (и направлявших) их мнение органов печати «Пушкинская речь» предстала некоей, может быть и прекрасной, но уж точно несбыточной утопией, не имеющей ничего общего с земной неприглядной реальностью. Эффект небывалого воздействия Речи стали мотивировать талантом оратора, сумевшего угодить всем без исключения слушателям. «Хитроискусной» назвал ее И. С. Тургенев, как бы очнувшись от наваждения (*Тургенев*), а последовавший его указанию «Вестник Европы» предложил термин «обольстительные слова» (*Пытин 1880а: XXXI*). Это объяснение работает и сегодня, достаточно лишь сменить терминологию на более научную, например: «эмоциональная техника аргументации», «риторические фигуры», «психологическая игра» и т. п. [Смолененкова]. В цитируемом современном исследовании успех речи Достоевского объясняется тем, что оратор последовательно, шаг за шагом удовлетворял запросы собравшейся аудитории. Поначалу «добрая половина слушателей почувствовала себя причастной к числу “страдающих по всемирному идеалу”», затем наступила очередь подкупить «либерально настроенную интеллигенцию» и, наконец, решающий сигнал послан лучшей половине аудитории: «Татьянинская часть речи, с её тщательно продуманным риторическим построением (использованием фигур обращения, концессии, заимословия, предупреждения и др.), а главное, с однозначно положительной, возвышенной трактовкой образа пушкинской героини, неизбежно превратила всех слушательниц Достоевского в его фанатичных почитательниц» [Смолененкова]. Сквозь ограду ученых слов хорошо узнается фабула, давно предложенная Глебом Успенским: Достоевский «желал всех силою своего слова покорить, всем понравиться и быть приветствованным всеми», и потому после Речи писателя благодарят за совершенно разные вещи генерал и курсистка, Иван Аксаков и «социалист», а в довершение сама Татьяна Ларина как представительница русских женщин (*Успенский 1880b: 109–113*). Современный исследователь на основании «риторико-критического анализа» заново повторяет то, что отзвучало в западнически-ориентированной газетно-журнальной критике «Пушкинской речи»: «Последние сомнения рассеяны, каждый в зале чувствует себя

“вполне русским”, “братом всех людей”, “всечеловеком”. И это очень приятно для русского самолюбия (в этом Тургенев был прав). <...> Получается, что потрясающее впечатление, произведенное речью, оказалось основанным почти что на недоразумении, массовом психозе, минутном увлечении». вывод: после общего отрезвления «речь была обречена на неприятие и искажающее истолкование» [Смолененкова].

«Обреченность» эта явно вымышлена ввиду очевидных фактов, приведенных выше: к пониманию смысла Речи, как мы видели, ближе всех подошли Л. Е. Оболенский, П. А. Гайдебуров, В. П. Буренин, некоторый вклад в это приближение внесли Н. П. Гиляров-Платонов, М. А. Загуляев и некоторые другие. В этот ряд следовало бы поставить некоторых «непрофессиональных» толкователей, оказавшихся пронизательнее многих «профессионалов». Вот одно из таких объяснений происшедшего 8 июня 1880 г. в зале Благородного собрания: «И не великому поэту одному указали Вы его высокое место, Вы указали его и для России, подняли наш угнетенный дух, от той-то радости и заплакали Ваши слушатели» (*Штакенишнейдер*).

По поводу же рьяных критиков Достоевского можно было бы сказать, что впоследствии, возвращаясь к теме, некоторые из них всё же отошли от воинственной риторики (*Михневич*, *Введенский*). Скажем больше: поняли Речь и принципиальные оппоненты Достоевского, поняли, но не приняли. Так, тот же Глеб Успенский сформулировал в секулярных терминах ключевую позицию Достоевского: «отвлеченная (хотя и очень искусная) проповедь самосовершенствования», — а затем дал собственную «формулу сомнения»: «Решительно нельзя понять, почему на Руси люди будут только самосовершенствоваться...» (*Успенский 1880b*: 117, 118). Успенский был далеко не одинок в своем сомнении. Один из организаторов Пушкинского праздника, во многом сочувственный Достоевскому, также недоумевал:

«Послушать его, стать на его точку зрения — надо перестать думать и об экономических и о политических усовершенствованиях народной жизни, похерить все эти вопросы и ограничиться молитвой, христианскими беседами, монашеским смирением, сострадательными слезами и личными благодеяниями» (Юрьев).

Успенский гораздо короче, буквально в двух словах передал расхождение с Достоевским: тот говорит о «ниве», а мы — о «деле» (свой цикл очерков Успенский тем не менее назвал «На родной ниве»). Следом публицист рассказал назидательную историю о народном заступнике, которому общество не позволяет вершить благодеяния (*Успенский 1880b*: 118–121).

Призыв Достоевского «потрудиться на родной ниве» (*МВед.*) не означал «ограничиться молитвой», такое, опять же мифологическое, прочтение оппоненты навязывали «Пушкинской речи». Из того культурного контекста, в котором данный призыв означал «умное делание», они давно (или недавно) выпали, вернувшись в него лишь на краткий миг, как тот же Успенский,

когда был слушателем Речи. Но этот-то миг и был по-настоящему моментом истины, впоследствии заслоненной чужеродными словами.

Особое место во всей этой истории занимает выступление К. Н. Леонтьева «О всемирной любви. По поводу речи Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике» в газете «Варшавский дневник» 29 июля, 7 и 12 августа. Значительность этого выступления была замечена не сразу, но зато впоследствии судьба определит ему стать главным противовесом «Пушкинской речи» и в этой роли ее вечным спутником. В рамках нашего обзора отметим характерное для Леонтьева «системное» противоречие: с одной стороны, он «вернул» Речь в ее подлинный контекст христианской словесности, а с другой — осудил ее автора с позиции абсолютизированной надмирности евангельского учения. Поразительно, как при этом сошлись крайности: Леонтьев в унисон внехристианской журналистике обвинил Достоевского в утопизме. Искомая Достоевским гармония «всечеловечности», по Леонтьеву, не способна выдержать столкновения с «нестерпимым трагизмом жизни», с ее принципиальной «неисправимостью» (*Леонтьев*: 7 августа). Современный исследователь определил конфликт двух мыслителей как «расхождение в идеалах» [Бочаров]. Не приняв «всечеловека» как идеал земного миропорядка, Леонтьев проявил «неполноту христианского сознания», поскольку «христианство есть спасение жизни, а не спасение от жизни» [Зеньковский]. Один из участников развернувшихся затем в русской религиозной философии прений точно подметил: Леонтьев «досадно отмахнулся и от всего, что связано у Достоевского с личным отношением к Христу, для которого, странно сказать, как будто вовсе не находится места в леонтьевском православии» [Булгаков].

Центральное слово «Пушкинской речи» — «всечеловек» — было тем краеугольным камнем, который отвергли непричастные дому строители. Само это слово и его производные («всечеловеческий», «всечеловечный», «всечеловечность») в контексте Речи представляют сходящиеся к центру семантические поля, поначалу образуемые такими понятиями, как «всемирная отзывчивость» Пушкина как русского гения (см. подробнее: [Викторович, 2005]) и «всемирность стремления русского духа». В заключительной части Речи «всемирность» как бы возрастает до «всечеловечности», а эта последняя вступает в союз с родственным: «братство» (семь слов с этим корнем в небольшом фрагменте текста!). Самое сильное место здесь: «...изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского согласия всех племен по Христову евангельскому закону!» Следом Достоевский оговаривает предвиденную им реакцию секуляризованной общественности и в противовес — свою твердую позицию: «Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь что их высказал. Этому надлежало быть высказанным» (*МВед.*). Заметим: восторженными и фантастическими «могут показаться» слова о «Христовом евангельском законе». Что,

собственно, и случилось как в секулярной, так и в квазихристианской журналистике. Однако слово было сказано, «и Слово было Бог». Концепт «всечеловек» попадал в тот смыслообразующий контекст, который, несомненно, был знаком аудитории, собравшейся в зале Благородного собрания, и потому был адекватно воспринят ее коллективной культурной памятью. Свидетельство тому — приведенные выше сравнения Достоевского с Петром-пустынником, а также сохранившаяся стенограмма агента III Отделения, тщательно фиксировавшего, в каких местах речь Достоевского прерывалась «рукоплесканиями», «дружными рукоплесканиями», «громом рукоплесканий» (дважды). Единственная ремарка «оглушительные рукоплескания» сопровождается именно словом «всечеловек» (*Агент*: 280). Ср.: «И к чему этот всечеловек, которому так неистово хлопала публика?» (*Тургенев*).

Что евангельские коннотации были не чужды данному слову, подтверждает рассуждение Н. Я. Данилевского в книге «Россия и Европа» (1869) о различении «общечеловеческого» и «всечеловеческого», завершающееся фразой: «...был только один Всечеловек — и тот был Бог» (*Данилевский*). Разумеется, Достоевский мог и не помнить этой фразы десятилетней давности, а в памяти слушателей Речи ее бытование тем более сомнительно. Однако есть неисследимые «воздушные пути» коллективной культурной памяти, и именно об этом слова Достоевского: «Можно очень много знать бессознательно», — сказанные, между прочим, по поводу «сердечного знания Христа» (*ДЗ0*; т. 21: 38). Слово «всечеловек» должно было «подождать», когда наступит время для его полной отрефлексированности — в трудах сербского святого Иустина (Поповича), рассматривавшего «Пушкинскую речь» как «самое евангельское пророчество о всечеловеке и о всечеловечестве» [*Иустин*: 226]. Приведем одно из суждений преподобного, имеющее прямое отношение к нашей теме:

«Для людей гуманистического, механического, римокатолического склада духа такое евангельское объединение людей во всечеловеческое братство представляется утопией, невозможным чудом на земле. Но для православного человека, обоженного и освященного Христом, такое объединение людей является не только горячим желанием веры и молитвы, но и необходимым евангельским ощущением жизни. Это одна из главных реалий, на которой стоит, существует и служит Христов человек в этом мире» [*Иустин*: 225].

Только недавно слово «всечеловек» вошло в тезаурус исследователей творчества Достоевского [Буданова], [Захаров, 2009], [Захаров, 2013а], [Захаров, 2013б], [Шалина], [Захаров, 2021], [Литинская].

Настала пора сказать несколько слов о современнике Достоевского, ближе других подошедшем к пониманию феномена «Пушкинской речи». Это Иван Сергеевич Аксаков. Именно он усилил эффект, произведенный Речью на слушателей, сразу же и во всеуслышание назвав ее «событием»¹³, что вызвало «рукоплескания и крики: браво!» (*Агент*: 281). Вскоре публицист

подробно изложил свое видение «события» в переписке с современниками (Аксаков), и, наконец, дал самый, возможно, проницательный на то время духовный очерк Достоевского в некрологической передовой статье газеты «Русь» (1881, 7 февраля). Аксаков здесь исчерпывающе ответил на известные уже нам «политические» претензии оппонентов писателя: «Идея внешней, социальной равноправности бледнела и исчезала для него в *высшей* идее — в христианской идее *братства*». В происшедшем со многими слушателями «Пушкинской речи» перевороте острый взгляд знатока русской общественной жизни уловил главное:

«...увлеченные общим движением, сами подвигнутые проснувшейся в них правдою и вспыхнувшим русским народным чувством, — многие стали потом стыдиться своего увлечения и своих восторгов — может быть лучшей, искреннейшей минуты в своей жизни!» («Русь», 1881, 7 февраля).

Интересно все же, чем была бы наша история без таких «минут»? Аксаков провокативно-резко и открыто-парадоксально называет их — «наваждение истины». Его проникновение в суть исторического события «Пушкинской речи» позволяет нам поставить последнюю точку в предпринятом обзоре:

«...знаменательна и утешительна самая возможность таких минут в нашей русской общественной жизни, когда правда берет свое, является в торжестве, всё покоряет себе своею властью, все и всех единит собою: это правда христианская, это правда русского, глубоко-народного чувства...» («Русь», 1881, 7 февраля).

Избранные источники

Агент — Бельчиков Н. Пушкинские торжества в Москве в 1880 г. в освещении агента III Отделения // Октябрь. 1937. № 1. С. 271–282.

Аксаков — письма И. С. Аксакова 1880 года: предположительно Е. Ф. Тютчевой 14 июня (Русский архив. 1891. Кн. 2. Вып. 5. С. 96–99), О. Ф. Миллеру 14 июля и 17 августа (Литературное наследство: Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования. Т. 86. М.: Наука, 1973. С. 511–512, 514–515), П. А. Кулаковскому 22 июля (Переписка П. А. Кулаковского и И. С. Аксакова 1880–1886 гг. // Славистика. Белград, 2014. Вып. XVIII. С. 572–573), Ф. М. Достоевскому 20 августа (ОР РГБ. Ф. 93.П. 1. 20. Л. 5–8 об.).

Арсеньев — <К. К. Арсеньев> Внутреннее обозрение // Вестник Европы. 1880. Ноябрь. С. 376–379.

Венок — <Ф. И. Булгаков> Венок на памятник Пушкину: Пушкинские дни в Москве, Петербурге и провинции: Адресы, телеграммы, приветствия, речи, чтения и стихи по поводу открытия памятника Пушкину. Отзывы печати о значении Пушкинского торжества. Пушкинская выставка в Москве. Новые данные о Пушкине. СПб.: Тип. и хромолит. А. Траншеля, 1880. 354 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://dlib.rsl.ru/viewer/01003611373#?page=1>

Введенский — Введенский Арс. Критики Ф. М. Достоевского // Труд. 1889. № 19–20.

Гайдебуров — <П. А. Гайдебуров> Журнальные очерки // Неделя. 1880. 5 октября. С. 1285–1287.

Градовский — Градовский А. Мечты и действительность. По поводу речи Ф. М. Достоевского // Голос. 1880. 25 июня.

ДЗО — Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.

Данилевский — Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М.: Книга, 1991. С. 123.

Депутат — С. Открытие памятника Пушкину в Москве. (Из записной книжки депутата) // Древняя и новая Россия. 1880. № 6. С. XIX.

Загуляев — Л. V. <М. А. Загуляев> Le Revues Russes // Journal de St. Petersburg. 1873. № 26. 28 янв.

Кавелин — Кавелин К. Д. Письмо Ф. М. Достоевскому // Вестник Европы. 1880. Ноябрь. С. 431–456.

Коропчевский? — <Д. А. Коропчевский?> По поводу открытия памятника Пушкину // Слово. 1880. Июнь. С. 155–160.

Леонтьев — Леонтьев К. О всемирной любви. По поводу речи Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике // Варшавский дневник. 1880. 29 июля, 7 и 12 августа.

МВед. — Достоевский Ф. Пушкин (Очерк) // Московские Ведомости. 1880. 13 июня. № 162.

Михайловский 1880a — М. Н. <Н. К. Михайловский> Литературные заметки // Отечественные записки. 1880. № 7. С. 122–134.

Михайловский 1880b — М. Н. <Н. К. Михайловский> Литературные заметки // Отечественные записки. 1880. № 9. С. 124–140.

Михневич — Коломенский Кандид <В. О. Михневич>. Вчера и сегодня // Новости и биржевая газета. 1881. 1 февраля.

Оболенский 1880a — Л. О. <Л. Е. Оболенский> А. С. Пушкин и Ф. М. Достоевский как объединители нашей интеллигенции // Мысль. 1880. № 7. С. 78–80. (a)

Оболенский 1880b — Л. О. <Л. Е. Оболенский>. Народники и г. Достоевский, бичующие либералов // Мысль. 1880. № 9. С. 82–96. (b)

Очевидец — Очевидец <О. А. Боровитинова?> Еще несколько слов о пушкинском празднике // Русское богатство. 1880. № 7. С. 27–52.

Паночини — Л. Алексеев <Л. А. Паночини>. Почему вскипел бульон и почему теперь только мы обращаем на это свое внимание // Русское богатство. 1880. № 12. С. 53–72.

Протопопов — Александр Горшков <М. А. Протопопов>. Проповедник нового слова // Русское богатство. 1880. Август. С. 1–28.

Пыпин 1880a — П. А. <А. Н. Пыпин> С пушкинского праздника // Вестник Европы. 1880. Кн. 7. С. XXI–XXXV.

Пыпин 1880b — В. В. <А. Н. Пыпин> Литературное обозрение // Вестник Европы. 1880. Кн. 10. С. 811–818.

Радюкин <Н. В. Шелгунов> Романтизм русский // Дело. 1873. № 8. С. 97, 102.

Салтыков-Щедрин 1880 — Н. Щедрин. За рубежом // Отечественные записки. 1880. № 9. С. 317–328.

Салтыков-Щедрин 1976 — [Письмо Н. К. Михайловскому 27 июня 1880 г.] // Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: в 20 т. М.: Худож. лит., 1976. Т. 19: письма 1876–1881. Кн. 1. С. 159.

Самарин — «А впечатление было поистине необычайное...» (письмо Ф. Д. Самарина о Пушкинской речи Достоевского) / публ. Б. Н. Тихомирова // Достоевский и мировая культура: альманах. М.: Классика плюс, 1997. № 9. С. 253.

Станюкович — О. П. <К. М. Станюкович> Пушкинский юбилей и речь г. Достоевского // Дело. 1880. № 7. С. 116.

Страхов — Страхов Н. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском // Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. С. 310.

Тургенев — Тургенев И. С. Письмо М. М. Стасюлевичу 13 июня 1880 г. // Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: в 28 т. Письма: в 13 т. Л., 1967. Т. 12. Кн. 2. С. 272.

Успенский 1880a — Г. У. <Г. И. Успенский> Пушкинский праздник. (Письмо из Москвы) // Отечественные записки. 1880. № 6. С. 173–196. (a)

Успенский 1880b — У. Г. <Г. И. Успенский> На родной ниве (очерки, заметки, наблюдения) // Отечественные записки. 1880. № 7. С. 109–121. (b)

Шелгунов — Г-Н. <Н. В. Шелгунов>. Романист, попавший не в свои сани // Дело. 1880. № 9. С. 160–161.

Штакеншнейдер — [Письмо Е. А. Штакеншнейдер Ф. М. Достоевскому 19 июня 1880 г.] Неизданные письма к Достоевскому. ... 10. / публ. А. М. Березкина // Достоевский: Материалы и исследования. Л.: Наука, 1983. [Т.] 5. С. 266.

Юрьев — [Письмо С. А. Юрьева О. Ф. Миллеру 3 ноября 1880 г.] Достоевский в неизданной переписке современников (1837–1881) / публ. Л. Р. Ланского // Литературное наследство: Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования. Т. 86. М.: Наука, 1973. С. 520.

Insident — Insident Достоевский // Слово. 1880. Сентябрь. С. 97.

Примечания

- 1 Все цитируемые повременные издания относятся к 1880 г. (исключение составляет только газета «Русь» 1881 г.), поэтому отсылки на них в скобках здесь и далее даются без указания года.
- 2 «Русский курьер» — ежедневная газета, выходившая в Москве в 1879–1889 гг. С самого начала в ней активно сотрудничает публицист, литературный критик В. А. Гольцев, в 1880 г. — временный редактор. Участник Пушкинского праздника, он составил также отчет о нем в июньском номере журнала «Русская мысль»: ряд принципиальных и детальных совпадений с отчетами в «Русском курьере» позволяет с большой долей уверенности приписать ему и авторство последних.
- 3 Письмо А. Н. Майкову без даты, после 13 июня 1880 г. (ИРЛИ. 16.989. Л. 1 об.).
- 4 Сам по себе выразителен факт: после открытия памятника Пушкину основным официально-общественным событием считалось торжественное заседание в Московском университете, где главным героем после Пушкина стал И. С. Тургенев. Достоевский на

- это заседание не пошел, и о нем не было там сказано ни полслова. Да и впоследствии речь Достоевского не вызвала в университетских кругах большого энтузиазма.
- 5 Одесскую газету «Правда» на Пушкинском празднике представлял И. В. Майнов (*Венок*: 168).
 - 6 Что особенно очевидно в его повести «Спаситель человечества» (*Мысль*. 1880. № 8–12), своеобразной беллетристической реакции на «Пушкинскую речь» Достоевского, но о ней разговор должен быть особый. См. также: [Книгин].
 - 7 Русское богатство. 1884. № 4. С. 172.
 - 8 Журнал «Слово» выходил ежемесячно в Петербурге в 1878–1881 гг., издателем в 1880 г. был А. А. Головачев, а редактором (и автором внутренних обозрений) Д. А. Коропчевский, публицист и антрополог. Скорее всего, последний и был автором двух полемических по отношению к Достоевскому статей в июньском и сентябрьском номерах журнала.
 - 9 Михайловский в точности выполнил редакционное задание руководителя журнала — показать, «что и Дост<оевский> и Тург<енев> надувают публику и эскамотируют Пушкинский праздник в свою пользу» (*Салтыков-Щедрин*, 1976).
 - 10 Статья подписана криптонимом О. П., что означает «Откровенный писатель» — под этим псевдонимом в журнале «Дело» с 1879 г. печатался прозаик и публицист К. М. Станюкович. Ранее криптоним не был раскрыт (см.: [Фридендер, Крыжановский: 482], [Летопись: 453]).
 - 11 Глобалистское понятие парадокса как «выверта», открывающего безнадежный дуализм русской культуры, продвигает разработчик деструктивных прочтений: [Эпштейн]. Эпистемологическое значение предложено было авторами сборника [Парадоксы], где однако ряд статей выходит из заданных границ термина и стремится к более широкому его культурологическому применению. О парадоксе у Достоевского как «способе проявления истины» см.: [Захаров, 2013: 430].
 - 12 1 марта 1881 года. Казнь императора Александра II. Документы и воспоминания / сост. В. Е. Кельнер. Л.: Лениздат, 1991. С. 145.
 - 13 Аксаков также заявил, что речь Достоевского «как молния, озарила всех светом» (*Самарин*). Это сравнение было затем подхвачено журналистами, в первую очередь Н. П. Гиляровым-Платоновым («Современные известия», 9 июня), не сославшимся на первоисточник, так что теперь «молния» привычно приписывается Гилярову (см., напр.: [Летопись: 434], [Фокин, Петрова]).

Список литературы

1. Белкина О. А. «Если наша мысль есть фантазия...» (Пушкинская речь Ф. М. Достоевского: замысел, отклики, споры). СПб.: МиМ-Экспресс, 1995. 159 с.
2. Бочаров С. Г. Леонтьев и Достоевский // Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 341–397.
3. Буданова Н. Ф. От «общечеловека» к «русскому скитальцу» и «всечеловеку» (Лексические заметки) // Достоевский. Материалы и исследования. СПб.: Наука, 1996. Т. 13: К 175-летию со дня рожд. Ф. М. Достоевского. С. 213–215.
4. Булгаков С. Н. Победитель — Победенный (Судьба К. Н. Леонтьева) // Булгаков С. Н. Сочинения: в 2 т. М.: Наука, 1993. Т. 2. С. 559–560.
5. Викторovich В. А. «Брошенное семя возрастет»: еще раз о «завещании» Достоевского // Вопросы литературы. 1991. № 3. С. 142–168.

6. Викторovich В. А. Четыре вопроса к Пушкинской речи. <...> 3. Где начало всечеловечности? // Достоевский. Материалы и исследования. СПб.: Наука, 2005. Т. 17. С. 285–296.
7. Викторovich В. А. Перепутья русского консерватизма (Ф. М. Достоевский и Н. П. Гиляров-Платонов) // Никита Петрович Гиляров-Платонов. Исследования. Материалы. Библиография. Рецензии. СПб.: Росток, 2013. С. 47–95.
8. Викторovich В. А. «Пушкинская речь» Достоевского в свидетельствах современников // Неизвестный Достоевский. 2020. № 4. С. 48–69 [Электронный ресурс]. URL: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1607498336.pdf (18.01.2021). DOI: 10.15393/j10.art.2020.5101
9. Волгин И. Л. Последний год Достоевского. М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2017. 780 с.
10. Захаров В. Н. «...Нас, что ни говори, еще очень мало»: неизвестное письмо Достоевского // Литературная газета. 2009. 10–16 июня. С. 15.
11. Захаров В. Н. Имя автора — Достоевский. Очерк творчества. М.: «Индрик», 2013. 456 с. (а)
12. Захаров В. Н. Художественная антропология Достоевского // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: ПетрГУ, 2013. Вып. 11. С. 150–164 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1431455945.pdf (18.01.2021). DOI: 10.15393/j9.art.2013.377 (b)
13. Захаров В. Н. Актуальность Достоевского // Неизвестный Достоевский. 2021. Т. 8. № 1. С. 5–20 [Электронный ресурс]. URL: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1617397021.pdf (18.01.2021). DOI: 10.15393/j10.art.2021.5321
14. Зеньковский В. История русской философии. М.: Академический Проект, 2011. 880 с.
15. Иустин, прп. (Попович). Достоевский о Европе и славянстве. М.; СПб.: Сретенский монастырь, 2002. 287 с.
16. Кантор В. «Средь бурь гражданских и тревоги...»: борьба идей в русской литературе 40–70-х годов XIX века. М.: Худож. лит., 1988. 304 с.
17. Китаев В. А. «Вестник Европы» в полемике с Ф. М. Достоевским (1880–1881 гг.) // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2020. № 1. С. 38–48.
18. Книгин И. А. Речь Ф. М. Достоевского о Пушкине в оценке Л. Е. Оболенского // Русская литературная критика. История и теория: межвуз. науч. сб. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1988. С. 81–87.
19. Левитт Маркус Ч. Литература и политика: пушкинский праздник 1880 года / пер. с англ. И. Н. Владимировой, В. Д. Рака. СПб.: Академический проект, 1994. 265 с.
20. Литинская Е. П. Риторика и поэтика «Пушкинской речи» Ф. М. Достоевского // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 2. С. 141–175. DOI: 10.15393/j9.art.2021.9583
21. Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского: в 3 т. СПб.: Академический проект, 1995. Т. 3: 1875–1881. 614 с.
22. Парадоксы русской литературы: сб. ст. / под ред. В. Марковича, В. Шмида. СПб.: ИНА-ПРЕСС, 2001. 350 с.
23. Ребель Г. М. Учитель или Пророк? Тексты Пушкинского праздника // Ребель Г. М. Тургенев в русской культуре. М.; СПб.: Нестор-История, 2018. С. 264–274.
24. Смолененкова В. В. Пушкинская речь Ф. М. Достоевского. Риторико-критический анализ // Кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания. Филологический факультет. МГУ им. М. В. Ломоносова [Электронный ресурс]. URL: <http://genhis.philol.msu.ru/pushkinskaya-rech-f-m-dostoevskogo-ritoriko-kriticheskij-analiz/> (18.01.2021).
25. Соловьев В. С. Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1988. Т. 1. 892 с.

26. Фокин П. Е., Петрова А. В. «Пушкинская речь» Ф. М. Достоевского как событие (по материалам рукописного фонда Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля) // *Неизвестный Достоевский*. 2020. № 2. С. 162–195 [Электронный ресурс]. URL: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1595258841.pdf (18.01.2021). DOI: 10.15393/j10.art.2020.4681
27. [Фридлендер Г. М., Крыжановский А. О.] Комментарии // *Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.*: в 30 т. Л.: Наука, 1984. Т. 26. С. 475–491.
28. Шалина М. А. Антропологическая проблематика творчества Ф. М. Достоевского // *Проблемы исторической поэтики*. 2021. Т. 19. № 1. С. 209–220. DOI: 10.15393/j9.art.2021.9044
29. Эпштейн М. Ирония идеала: парадоксы русской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2015. 384 с.

References

1. Belkina O. A. «*Esli nasha mysl' est' fantaziya...*» (*Pushkinskaya rech' F. M. Dostoevskogo: zamysel, otkliki, spory*) ["If Our Thought Is a Fantasy..."] (*Pushkin Speech by F. M. Dostoevsky: Concept, Responses, Disputes*). St. Petersburg, MiM-Ekspress Publ., 1995. 159 p. (In Russ.)
2. Bocharov S. G. Leontiev and Dostoevsky. In: *Bocharov S. G. Syuzhety russkoy literatury* [Bocharov S. G. *Plots of Russian Literature*]. Moscow, Yazyki russkoy kul'tury Publ., 1999, pp. 341–397. (In Russ.)
3. Budanova N. F. From “Common Man” to “Russian Wanderer” and “Universal Man” (Lexical Notes). In: *Dostoevskiy. Materialy i issledovaniya* [Dostoevsky. *Materials and Researches*]. St. Petersburg, Nauka Publ., 1996, vol. 13: Dedicated to the 175th Anniversary of the Birth of F. M. Dostoevsky, pp. 213–215. (In Russ.)
4. Bulgakov S. N. The Winner and the Defeated (the Fate of K. N. Leontiev). In: *Bulgakov S. N. Sochineniya: v 2 tomakh* [Bulgakov S. N. *Writings: in 2 Vols*]. Moscow, Nauka Publ., 1993, vol. 2, pp. 559–560. (In Russ.)
5. Viktorovich V. A. “The Abandoned Seed Will Grow”: Once Again About the “Testament” of Dostoevsky. In: *Voprosy literatury*, 1991, no. 3, pp. 142–168. (In Russ.)
6. Viktorovich V. A. Four Questions to the Pushkin Speech. <...> 3. Where Is the Beginning of All-humanity? In: *Dostoevskiy. Materialy i issledovaniya* [Dostoevsky. *Materials and Researches*]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2005, vol. 17, pp. 285–296. (In Russ.)
7. Viktorovich V. A. Crossroads of Russian Conservatism (F. M. Dostoevsky and N. P. Gilyarov-Platonov). In: *Nikita Petrovich Gilyarov-Platonov. Issledovaniya. Materialy. Bibliografiya. Retsenzii* [Nikita Petrovich Gilyarov-Platonov: *Research. Materials. Bibliography. Reviews*]. St. Petersburg, Rostok Publ., 2013, pp. 47–95. (In Russ.)
8. Viktorovich V. A. Dostoevsky’s Pushkin Speech in the Testimonies of Contemporaries. In: *Neizvestnyy Dostoevskiy* [The Unknown Dostoevsky], 2020, no. 4, pp. 48–69. Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1607498336.pdf (accessed on January 18, 2021). DOI: 10.15393/j10.art.2020.5101 (In Russ.)
9. Volgin I. L. *Posledniy god Dostoevskogo* [The Last Year of Dostoevsky]. Moscow, AST Publ., Redaktsiya Eleny Shubinoy Publ., 2017. 780 p. (In Russ.)
10. Zakharov V. N. “...There Are Still Very Few of Us, Whatever You Say”: An Unknown Letter from Dostoevsky. In: *Literaturnaya gazeta*, 2009, 10–16 June, p. 15. (In Russ.)
11. Zakharov V. N. *Imya avtora — Dostoevskiy. Ocherk tvorchestva* [The Author’s Name is Dostoevsky. *An Essay on Creative Works*]. Moscow, Indrik Publ., 2013. 456 p. (a) (In Russ.)

12. Zakharov V. N. Dostoevsky's Poetic Anthropology. In: *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University Publ., 2013, issue 11, pp. 150–164. Available at: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1431455945.pdf (accessed on January 18, 2021). DOI: 10.15393/j9.art.2013.377 (b) (In Russ.)
13. Zakharov V. N. The Relevance of Dostoevsky. In: *Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky]*, 2021, vol. 8, no. 1, pp. 5–20. Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1617397021.pdf (accessed on January 18, 2021). DOI: 10.15393/j10.art.2021.5321 (In Russ.)
14. Zen'kovskiy V. *Istoriya russkoy filosofii [History of Russian Philosophy]*. Moscow, Akademicheskii Proekt Publ., 2011. 880 p. (In Russ.)
15. Iustin, St. (Popovich). *Dostoevskiy o Evrope i slavyanstve [Dostoevsky's Opinion About Europe and the Slavs]*. Moscow, St. Petersburg, Sretenskiy monastyr' Publ., 2002. 287 p. (In Russ.)
16. Kantor V. «Sred' bur' grazhdanskikh i trevogi...»: bor'ba idey v russkoy literature 40–70-kh godov XIX veka [“Among Storms Civil and Alarms...”: Fight of the Ideas in the Russian Literature of the 40–70th Years of the 19th Century]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1988. 304 p. (In Russ.)
17. Kitaev V. A. “Vestnik Evropy” in its Controversy with F. M. Dostoevsky (1880–1881). In: *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo [Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod]*, 2020, no. 1, pp. 38–48. (In Russ.)
18. Knigin I. A. F. M. Dostoevsky's Speech About Pushkin in the Assessment of L. E. Obolensky. In: *Russkaya literaturnaya kritika. Istoriya i teoriya [Russian Literary Criticism. History and Theory]*. Saratov, Saratov State University Publ., 1988, pp. 81–87. (In Russ.)
19. Levitt Markus Ch. *Literatura i politika: pushkinskiy prazdnik 1880 goda [Literature and Politics: the Pushkin Celebration of 1880]*. St. Petersburg, Akademicheskii proekt Publ., 1994. 265 p. (In Russ.)
20. Litinskaya E. P. Rhetoric and Poetics of Dostoevsky's Pushkin Speech. In: *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*, 2021, vol. 19, no. 2, pp. 141–175. DOI: 10.15393/j9.art.2021.9583 (In Russ.)
21. *Letopis' zhizni i tvorchestva F. M. Dostoevskogo: v 3 tomakh [The Chronicle of Dostoevsky's Life and Works: in 3 Vols]*. St. Petersburg, Akademicheskii proekt Publ., 1995, vol. 3: 1875–1881. 614 p. (In Russ.)
22. *Paradoksy russkoy literatury: sbornik statey [Paradoxes of Russian Literature: Collection of Articles]*. St. Petersburg, INAPRESS Publ., 2001. 350 p. (In Russ.)
23. Rebel' G. M. Teacher or Prophet? Texts of the Pushkin Holiday. In: *Rebel' G. M. Turgenev v russkoy kul'ture [Rebel G. M. Turgenev in Russian Culture]*. Moscow, St. Petersburg, Nestor-Istoriya Publ., 2018, pp. 264–274. (In Russ.)
24. Smolenenkova V. V. Rhetorical-critical Analysis of Pushkin Speech by F. M. Dostoevsky. In: *Kafedra obshchego i sravnitel'no-istoricheskogo yazykoznaniya. Filologicheskii fakul'tet. MGU imeni M. V. Lomonosova [Department of General and Comparative Historical Linguistics. Faculty of Philology. Lomonosov Moscow State University]*. Available at: <http://genhis.philol.msu.ru/pushkinskaya-rech-f-m-dostoevskogo-ritoriko-kriticheskij-analiz/> (accessed on January 18, 2021). (In Russ.)
25. Solov'ev V. S. *Sochineniya: v 2 tomakh [Writings: in 2 Vols]*. Moscow, Mysl' Publ., 1988, vol. 1. 892 c. (In Russ.)
26. Fokin P. E., Petrova A. V. Pushkin Speech by Fyodor Dostoevsky as an Event (Based on the Materials of the Manuscript Fund of the Vladimir Dahl State Museum of the History of Russian Literature). In: *Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky]*, 2020, no. 2,

- pp. 162–195. Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1595258841.pdf (accessed on January 18, 2021). DOI: 10.15393/j10.art.2020.4681 (In Russ.)
27. Fridlender G. M., Kryzhanovskiy A. O. Comments. In: *Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh* [*Dostoevsky F. M. The Complete Works: in 30 Vols*]. Leningrad, Nauka Publ., 1984, vol. 26, pp. 475–491. (In Russ.)
28. Shalina M. A. Anthropological Problems of F. M. Dostoevsky's Creativity. In: *Problemy istoricheskoy poetiki* [The Problems of Historical Poetics], 2021, vol. 19, no. 1, pp. 209–220. DOI: 10.15393/j9.art.2021.9044 (In Russ.)
29. Epshteyn M. *Ironiya ideala: paradoksy russkoy literatury* [*The Irony of the Ideal: The Paradoxes of Russian Literature*]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2015. 384 p. (In Russ.)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Викторович Владимир Александрович, Vladimir A. Viktorovich, PhD (Philology), доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы, Государственный социально-гуманитарный университет (ул. Зеленая, 30, г. Коломна, Российская Федерация, 140410); ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9576-9522>; e-mail: VA_Viktorovich@mail.ru

Поступила в редакцию / Received 05.02.2021

Поступила после рецензирования и доработки / Revised 12.05.2021

Принята к публикации / Accepted 01.06.2021

Дата публикации / Date of publication 05.07.2021